

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЯНВАРЬ

20

ПЯТНИЦА

1939 год

№ 4 (783)

Цена 30 коп.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

Выходит под редакцией: В. Ставского, Е. Петрова,
В. Лебедева-Кумача, Н. Погодина, О. Войтинской.

Писатель, любимый Лениным

В самом деле, мы все еще плохо знаем Чехова, хотя и чувствуем, что он заслуживает быть изученным так, как изучен у нас Пушкин.

Принято, например, утверждать, что в области чисто художественного творчества поездка Чехова на Сахалин дала немного — рассказы «Убийство» и «Гусев».

Но утверждая так, биографы и исследователи не идут дальше регистрации творчества по чисто формальным признакам.

О том, как новые, появившиеся у Чехова после поездки на Сахалин, мотивы вплетались в его творчество, — с удивительной наглядностью раскрывает нам история создания «Учителя словесности».

Когда Чехов писал первую главу, он, по собственному признанию, «поощаил своих героев» и счастливый сон влюбленного молодого учителя сделал концом всего повествования. Это было в 1889 году — до поездки на Сахалин. Здесь был элемент того самого благодушия, против которого так резко выступал сам Чехов.

После поездки на Сахалин Чехов снова возвращается к этому рассказу и приписывает к нему вторую главу — жесткую, суровую, беспощадную, в которой уже ничего не остается от мешанского счастья и провинциальной идиллии, — главу, в которой учитель Никитин восклицает:

«Нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с ума!»

Восклицание это напоминает нам уже акцизного чиновника Лаевского — героя «Дуэли».

Очень тонко заметил один из корреспондентов Чехова, что «Дуэль» представляется ему пропитанной сахалинскими мотивами.

Для меня замысел «Дуэли» заключен в одном коротком подстрочном примечании Чехова к «Острову Сахалину» — примечании о случаях заболевания чиновников острыми формами ностальгии, тоски по родине.

Вопрос же о том, почему этот замысел Чехов развернул не на фоне Сахалина, а на фоне Абхазии, — тема для интереснейшего исследования. Это вопрос о сознательном отказе Чехова от всего исключительного, о стремлении поставить жизненную проблему в ее самой общей форме: дело не в исключительных условиях, в которых живут чиновники на Сахалине, а в общих условиях российской жизни, условиях, в которых даже чудесная природа не только не приносит доли счастья, а, наоборот, превращается в источник душевной муки.

Таких трансформаций, очень тонких и глубоких, в творчестве Чехова много. И это, кстати, одна из причин, по которым современники Чехова так охотно называли живых прототипов его героев и, называя их, почти всегда ошибались...

Но говорить об «Учителе словесности» и «Дуэли», как о входящих в сахалинский цикл Чехова, можно, конечно, только условно. Что же касается такой повести, как «Палата № 6», — о ней следует говорить как о «сахалинской» без всяких оговорок.

Если Чехов когда-нибудь прибегал к иносказанию по цензурным соображениям, то, конечно, это сделал он в «Палате № 6». Со всей ответственностью я берусь утверждать, что «Палата № 6» есть, как теперь принято выражаться, «лобовое» изображение сахалинской каторги, и это лобовое изображение замаскировано ровно настолько, насколько это приходилось делать, учитывая цензурные условия.

И вот — великолепное торжество обобщающего гения Чехова: учитывая цензуру, он сузил изображение царской каторги до описания одной из палат провинциальной больницы, но, описав эту палату, Чехов изобразил не один режим каторги, но режим всей страны.

Перечитывая «Палату № 6», мы всегда будем вспоминать то впечатление, которое произвела эта повесть на Ленина, будем вспоминать строки из воспоминаний его сестры Анны Ильиничны:

«Остался у меня в памяти разговор с Володей о появившейся в ту зиму в одном из журналов новой повести А. Чехова «Палата № 6». Говоря о талантливости этого рассказа, о сильном впечатлении, произведенном им, — Володя вообще любил Чехова, — он определил лучше всего это впечатление следующими словами:

«Когда я дочитал вчера вечером этот рассказ, мне стало прямо-таки жутко, я не мог оставаться в своей комнате, встал и вышел. У меня было такое ощущение, точно и я заперт в палате № 6».

«Сахалинское» в творчестве Чехова, то есть та правда отрицания, которая с каждым годом все сильнее звучала в чеховских произведениях, — вот что, думается, прежде всего делало Чехова близким Ленину.

Ведь это был писатель, который в «Человеке в футляре» написал о том, что «больше жить так невозможно», а в «Невесте» написал о том, что «главное — перевернуть жизнь».

В этих словах, приписанных автором ветеринарному врачу Ивану Ивановичу и типографу Саше, вы слышите голос самого Чехова, который вступает в открытый, честный и суровый разговор со своим читателем.

Попытки загризировать Чехова революционером останутся фальсификацией и притом довольно наивной. Что же касается не субъективных взглядов Чехова, а объективного революционного значения чеховского творчества, то оно до сих пор скорее преуменьшалось, чем преувеличивалось.

Но не одна эта правда отрицания делает Чехова великим писателем и не за одну ее любил Чехова Ленин.

Чеховская нежность и мягкость, все то нелегко определяемое и очень хорошо нами ощущаемое, что составляет чеховскую поэзию, — все это не затухало, не обволакивало правду отрицания, а как раз ее выделяло и подчеркивало.

Многим современникам Чехова казалось, что его поэзия исчерпывается уютом неторопливо текущего времени и нетребовательной мечтательностью. Среди скромных певцов русского быта, среди плеяды «описателей» жизни конца прошлого века они находили Чехова самым тонким, самым талантливым — и только. В их сознании Чехов противопоставлялся, скажем, Щедрина, и, находя все же в Чехове щедринское, разоблачительное, они ощущали это «щедринское» как своего рода ущемление «чеховского».

Но истинная поэзия Чехова была заключена как раз в отрицании того, что на первый, поверхностный, взгляд Чеховым воспевалось. Писатели чеховской плеяды знали только чувство привязанности к тому, что они избрали предметом своего вдохновения. Чехов же кроме привязанности (не следует эту привязанность отрицать у Чехова совсем) знал еще чувство отвращения, гнева, ненависти.

И это второе чувство, эта правда отрицания придали простым чеховским картинам быта и психологии мощь и прочность вечных созданий искусства. Потому можно сказать, что правда отрицания и составляла душу чеховской поэзии, придавала ей взрывчатую силу.

Вот за это, вероятно, более всего и любил Чехова Ленин.

И вот почему кажется вполне естественным и понятным, что даже в самые трагические для революции дни Ленин, отдавая чтению или театру немногие часы, брался за томик Чехова или ехал в Художественный театр на спектакль «Дядя Ваня».

В настоящее время вновь обсуждается вопрос о том, как следует ставить пьесы Чехова на советской сцене.

Прежде всего их следует ставить, как пьесы, которые любил Ленин. А это значит — ставить пьесы Чехова просто и мужественно, ни в чем не искажая прошлого и думая о будущем.